

летописи. Разумеется, смоленский миниатюрист XV в. уже не застал «настоящих» дружин, но он мог гораздо лучше нас понять текст, который иллюстрировал. Было бы интересно посмотреть, видел ли иллюстратор «малую дружину» или «отроков» как «средовеков» или как «юношей».

Наконец, стоит заметить, что большой объём монографии – 655 страниц – посилен для специалиста, но неподъёмен для школьного учителя. А ведь с сюжетов, которым посвящена книга Стефановича, начинается любой курс русской (или украинской) истории. Хорошо бы издать краткое изложение основных тезисов автора. Кажется, в советской медиевистике эту добрую традицию – брошюра с изложением основных выводов монографии – поддерживал только И.И. Смирнов, выпустивший два таких «автореферата».

### *Андре Берелович: Сосредоточивая внимание на словах*

Социальная история (не говоря уж об экономической) в наших представлениях связана с диаграммами, кривыми, статистикой – одним словом, с количественными величинами. Пётр Стефанович доказал, что убедительно писать об обществе Древней Руси X–XI вв. можно при почти полном отсутствии количественных данных, опираясь исключительно на строго выдержанный, пытливый, тонкий и методичный анализ повествовательных источников и тем самым заменяя количество качеством.

Источники по этому периоду, как известно, немногочисленны и к тому же не точны. Даже русско-греческие договоры 911 и 944 гг. известны нам не иначе, как в летописной передаче, на верность которой можно только надеяться. Летописи, которые редактировались 100–150 лет спустя после описываемых событий, оказываются лишь далёким отголоском реальной истории. Иностранные сообщения, в первую очередь трактаты византийского императора Константина VII Багрянородного, неоценимы, но написаны без настоящего знакомства с тогдашним русским обществом. Лишь археологические находки, в том числе берестяные грамоты, дают неоспоримые свидетельства, но они почти никогда прямо не относятся к избранной автором теме – истории древнерусской элиты.

Скудость источников до некоторой степени компенсируется существованием аналогичных явлений в других европейских государствах. Сравнение русских черт со среднеевропейскими (венгерскими, польскими, чешскими), западноевропейскими (германскими, в частности франкскими, и английскими) и скандинавскими позволяет автору выстроить типологию изучаемых социальных фактов (см. образцовый обзор европейской знати и выводы, с. 532–541). Для этого необходимо было углубиться в историографию этих стран, а также привлечь соответствующие филологические труды. Стефанович читает на многих языках, особенно хорошо он овладел немецкой историографией (см., например, с. 50–86). Его виртуозная эрудиция нередко вызывает чувство, близкое к восхищению.

Анализируя источники, чтобы лучше понять природу домонгольского общества, историки обычно интересуются *смыслом* древних текстов. Язык летописей, разумеется, нуждается в объяснении, но главная забота учёных – определить, какие реалии эти тексты описывают. Стефанович совершает своего рода коперниканский поворот, сосредоточивая внимание именно на самих *словах*. Всё исследование на них и построено: что значат и откуда происходят

понятия «дружина», «бо(л)ярин», «гридь», «отрок»? Его выводы и созданная им схема древнерусской элиты вытекают из ответов на эти вопросы. Вот почему филологические, особенно этимологические экскурсы занимают столько места в его труде.

Если суммарно перечислить результаты исследования, они могут показаться скромными. «Дружина» означает «спутников», «товарищей» или же «военный отряд» в распоряжении князя, иногда под началом боярина. «Гридь» (собирательное *гридьба*) – профессиональный воин на службе князя или вельможи. Бояре – члены аристократии, которые в X в. почти равноправны с князьями, а в XI–XII вв. – подвластны князьям и образуют правящий круг, или класс, отличающийся политическим могуществом, богатством и военной силой.

Но в том-то и дело, что поверхностно читать книгу Стефановича просто нет смысла. Автор, как полагается настоящему картезианцу, разделил свой предмет на ряд проблем: например, действительно ли слово «дружина» происходит от слова «друг», «приятель», откуда *дружина* как «группа приятелей», затем как «военный отряд», и, наконец, *дружинник* как член *дружины*<sup>11</sup> (с. 139)? Чтобы дать обоснованный ответ, автор сначала исследует древнейшие славянские памятники (тексты кирилло-мефодиевского круга, древнеболгарские, чешские церковнославянские тексты, с. 137–184), потом древнерусские источники (реконструируемое древнейшее летописание, летописи и другие источники XI–XIII вв., с. 185–258). В каждом из этих разделов ставятся свои специфические вопросы, как то: имел ли в виду агиограф, написавший Житие Мефодия, некоего «друга», который был «богаты зѣло и съвѣтъникъ» князя? Тогда можно утверждать, что этот «друг» является дружинником, как предполагал французский славист А. Вайан. Стефанович доказывает, что в этом пассаже имеется в виду не «приятель», а «другой», напоминая, что слово «дружинник» засвидетельствовано в русском языке только с начала XVI в. (с. 144–150). Каждый шаг рассуждений автора скрупулёзно аргументирован.

В итоге этого и многих других микроисследований Стефанович вправе заключить, что дружина – не *terminus technicus*, т.е. не институт, а тем более не институт, унаследованный от незапамятных времён. Значение слова в памятниках XI–XII вв. «широко и расплывчато» (с. 181), способно варьировать в зависимости от контекста (с. 261), в большинстве случаев возвращаясь к двум основным понятиям – «спутники», «проводящие» (отсюда «княжеская свита») и «войско», «воинский отряд». Впрочем, само существование свиты и отрядов несомненно, и ничто не мешает употреблению слова «дружина» в исторических трудах при условии его чёткого определения. Сам автор определяет дружину как «архаичное военизированное объединение в до- и предгосударственную эпоху» (с. 563).

Разоблачить миф о дружине, лишив её всех украшений и фантазий, изобретённых европейскими, в том числе русскими историками XIX и XX вв., тем более полезно, что она по сути дела – «лицемерный», закамуфлированный конструкт, подобный понятию «феодал». Конечно, «феодализм» – тоже конструкт (с. 91), но его неаутентичность очевидна: известно, что этот термин изобрёл в 1836 г. Ф. Гизо. Слово же «дружина», не раз повторяющееся в древнерусских источниках, оказалось чуть ли не сакрализированным, считаясь отражением се-

<sup>11</sup> См. на с. 259 об аналогичной конструкции Ф.П. Сороколетова: спутники → войско → княжеское войско → политическая организация при князе.

дой старины. Стефанович возвращает дружину из мира романтических грёз в сферу реальной истории.

Очень интересна гипотеза автора о политических и экономических обстоятельствах, породивших по всей «варварской» Европе «большие дружины», как их назвали чешские и польские историки, т.е. отряды наёмников. Они существовали преимущественно в зонах контакта между ещё не развитыми и более «продвинутыми» государствами. Большие дружины – орган принуждения, необходимый для взимания дани, за счёт которой они и вознаграждались монархом. Сопоставляя противоречивые данные из византийских источников и из летописи (известие под 6522(1014) г.) с рассказом известной «Саги об Эймунде», Стефанович пробует установить размеры выплат, с одной стороны – византийского двора наёмным «росам», а с другой – норвежским воинам, приведённым Эймундом князю Ярославу Владимировичу. Первые получали в год в среднем от 10 в 911 г. до 28 в 949 г. номизм (эквивалент 10 и 28 древнерусских гривен серебра, соответственно), вторые же (если исправить цифры саги) – 6 гривен (с. 315–320). Ценны также подсчёты численности дружин: 800 человек в Киеве в 1093 г. (с. 307–310), от 100 до 150, максимум 200 в Новгороде в 1014 г. (с. 315, 319–320).

Хотелось бы, конечно, узнать, действительно ли существовали, как предполагает автор монографии, «некие общепринятые нормы оплаты профессионального военного “труда”» (с. 319). Не могу не сознаться в некотором скептицизме: единый рынок наёмников невозможен без настоящей свободы передвижения и вряд ли образовался в Европе даже во время Столетней войны. Отсутствие источников также не позволяет решить два важных вопроса, хорошо знакомые историкам Нового времени: нанимались ли воины индивидуально, как в Московском государстве XVII в., или же целыми отрядами, как представляет «Сага об Эймунде» и как это практиковалось в Западной Европе XVII в.? Не пополняли ли наёмники княжескую выплату за счёт грабежа?

Упадок, а потом и полное исчезновение «большой дружины» приходится на конец XI – конец XII вв. Распад Киевской Руси на полтора десятка княжеств, развитие боярских дружин привели к кризису, свидетельством которого могут служить *temporis acti laudatores* – автор «Предисловия к Начальному своду» и редактор статьи под 6601(1093) г. (ПРСЛ, Т. 1. Л., 1926. Стб. 170) оба выражают свою ностальгию по «доброму старому времени» княжеской дружины (с. 191, 324–330).

Следуя по стопам М.Д. Присёлкова и А.В. Соловьёва, Стефанович считает, что Русь в X в. представляла собой «объединение “ярлов” “под рукою” киевского “конунга”» (с. 438). Иначе говоря, её политическое устройство напоминало, по понятным причинам, соседнюю Скандинавию. «Малые конунги» (те же «архонты», или князья/бояре), хоть и признавали первенство «большого конунга» (киевского князя), управляли фактически независимыми землями. В XI–XII вв. картина изменилась: во главе отдельных земель стояли уже князья-Рюриковичи, опиравшиеся на боярскую элиту. Её размеры автор старается исчислить: в конце XI в. около 300–400 человек в Киеве, во всей Руси, может быть, тысяча. Если принять общерусскую цифру 2 тыс. гридей, военная элита составляла едва ли 3 тыс. человек. В XII – начале XIII в. в каждой земле-княжестве знать (бояре) насчитывала от несколько десятков до 200 человек; участвовали в принятии важных политических решений от одного до нескольких десятков человек (с. 544–552). При этом боярское могущество вовсе не

уменьшилось. «Без бояр князь оказывается бессилён» (с. 530). Боярство практически (но не юридически) наследственно. Оно опиралось, как явствует из Жития Феодосия Печерского, на неразрывную триаду: «славу (престиж), богатство и власть» (см. с. 467–471). Кроме обыкновенной прислуги бояре содержали военных слуг, «отроков» (греч. παῖς, множ. παῖδιά; лат. *puer*; араб. *гулям*) (с. 474–477).

Как и всякий крупный исторический труд, книга Стефановича возбуждает множество новых вопросов и открывает перспективы будущих исследований. Коротко коснусь нескольких моментов, попадающих в ту или иную из этих категорий.

Автор обнаружил поразительное сходство между структурой известной нам дружины и опричниной Ивана Грозного, вплоть до тождественных ресурсов (соляных варниц) в одних и тех же городах. Он объясняет это сходство тем, что «исчезновение гридбы не было концом “большой дружины” в русской истории или, по крайней мере, не была забыта сама система» (с. 358). Не отрицая этой весьма интересной возможности – в опричнине и вправду ощущается нечто глубоко архаичное – всё-таки недоумеваю, каким образом и в чьей именно памяти могла сохраниться дружинная система? Стефанович выдвигает свою мысль «в порядке гипотезы, требующей ещё проверки», но мне, тем не менее, кажется, что он флиртует с историческими фантазиями, которые справедливо опровергает в трудах своих предшественников. Проще и логичней исходить из принципа, что одинаковые причины порождают одинаковые последствия. Б. Шишло не так давно предлагал теорию, согласно которой в России очень долго, до XX в. включительно, продержался «хищнический способ производства»<sup>12</sup>, сиречь грабёж. Если он прав, это могло бы более убедительно объяснить и пережитки дружинного строя.

В книге неоднократно упоминаются пиры кн. Владимира Святославича. На с. 221–222 приводится рассказ о воскресных банкетах, устроенных для «людей своих» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 126), с комментарием: «Текст представляет собой... фрагмент, тема которого лишь очень приблизительно соответствует соседним известиям». Автор, безусловно, прав в том смысле, что сообщение о еженедельных пирах могло быть помещено в любой годовой статье Владимирово княжения или даже посмертно. Но изучаемый фрагмент следует за рассказом об основании Преображенской церкви и о милостынях, раздаваемых князем. Тут, на мой взгляд, ассоциация не «приблизительная», а фундаментальная. Обязательная щедрость монарха или вождя – универсальный топос, от Квакиутлов до кочевников Центральной Азии, от византийских императоров до французских королей. Его дары дважды ценны для его подданных, и потому, что он вождь, и потому, что как носитель сакральности он орошает всю страну, подобно некоему ключу благодати<sup>13</sup>.

В заключении Стефанович усматривает в «Памяти и похвале князю Владимиру», датированной серединой – третьей четвертью XI в., отражение трёхчастной модели общества (*oratores, bellatores, laboratores*), выработанной Ж. Дюмезилем (с. 559–560). Он приводит другой пример из постановлений

<sup>12</sup> В сборнике: *Sibérie: questions sibériennes: histoire, cultures, littérature* / Éd. par B. Chichlo. P., 1999.

<sup>13</sup> Недаром слово *lord* первоначально означало «хранитель хлеба», а *lady* – «хлебная распределительница». См. о царских выходах: Коллман Н. Соединённые честью: государство и общество в России раннего Нового времени. М., 2001.

Стоглавого собора (1551). Можно прибавить и третий случай, правда, ещё более поздний: в «Утверждённой грамоте» 1613 г. об избрании на царство Михаила Фёдоровича состав Московского государства упомянут 66 раз. В самой сжатой форме общество изображено как трёхчастное: «богомольцы (дословный перевод *oratores*), царский синклит (военная, политическая элита) и несчётное множество христиан (третье сословие)»; в развёрнутом виде перечисляются 29 чинов, но всегда устойчиво соблюдается трёхчастная модель<sup>14</sup>.

На с. 261 Стефанович пишет: «Для неопределённости и нетерминологичности слова (“дружина”. – А.Б.)... [показательно] частое употребление слова с дополнительными пояснениями или определениями – “дружина лучшая”, “передняя” и т.п.». Не отрицая расплывчивости «дружины», рискну иначе истолковать обилие прилагательных. Стараясь описать реакции русского общества на инфляцию, порождённую «медными деньгами» в 1660-х гг., я обратил внимание на использование ключевого для исследования слова «деньги». Ни разу во всех доступных мне источниках я не нашёл этого слова без пояснений: деньги были «медными», «покупными», «воровскими» (поддельными) и какими угодно, но абстрактное понятие металлического или иного знака ценности отсутствовало. Гипотеза частично подтверждается тщетным поиском неопределённых «денег» в «Словаре русского языка XI–XVII вв.» и появлением их в Словаре XVIII в.<sup>15</sup> Нельзя ли предположить, что в архаичном мышлении чёткие, абстрактные, «терминизированные» (слово и кавычки П.С. Стефановича) понятия вообще являются редким исключением? Абстрагирование даётся нелегко даже человеку Ренессанса, знакомому с латынью и с греческим. Что и говорить о жителях варварской Европы! Типично скорее обратное: точно так же, как в фигуре боярина слава, богатство и политическая роль «неразрывно связаны» (с. 554), так и представление о дружине не может оторваться от конкретных разнообразных людей, её составляющих. Может быть, всё-таки надо признать дружину «расплывчатым институтом»?

Эти полукритические замечания в моих глазах нисколько не умаляют достоинств незаурядной книги. Я не случайно назвал Петра Стефановича картезианцем. С автором «Рассуждения о методе» он разделяет то, что я бы назвал «радикальным предварительным скептицизмом» – редкую способность оторваться от всей массы существующей литературы и обратиться к проблеме *ex nihilo*. Но нет сомнения, что после его труда воспринимать историю Древней Руси по-старому уже будет невозможно.

### **Наталья Ениосова: Глазами археолога**

Трудно представить себе исследователя археологических памятников периода формирования Древнерусского государства, не испытывавшего острого интереса к проблемам военно-политической элиты Руси X–XI вв. и не пытавшегося осмыслить материалы раскопок в свете письменных источников. Даже «узкие» специалисты, углублённо изучающие женские украшения, амулеты или бытовые предметы, не могут избежать необходимости соотнести результаты морфологического, стилистического и хронологического анализа с контекстом

<sup>14</sup> Berelowitch A. Hiérarchie et préséances: le cas de la Russie au XVIII<sup>e</sup> siècle // Revue des Études slaves, Vol. LXIII. 1991. № 1. P. 229–244.

<sup>15</sup> Berelowitch A. De modis demonstrandi in septidecimi saeculi Moschovia // Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte. Vol. 56. 2000. S. 8–46.